

ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

## НЕОКОНЧЕННЫЙ ПУТЬ

*Из цикла “Незабытое”*

*— Боже, верую! Помоги моему неверию!*  
Ф. М. Достоевский

Сейчас, когда я вполне ещё твёрдой рукой и в достаточно твёрдой памяти пишу (по-прежнему “шариком”) эти строки, — до смертного часа, до гробовой крышки той же рукой подать... И стало ясно мне, что откладывать больше нельзя, — пора рассказать внукам и близким, кого люблю, о моём долгом, зигзагами и оступами, пути к Господу. Пути, начатом ещё в довоенном младенчестве и, увы, не завершённом поныне.

*— Стыдно мне, что я в Бога верил,  
Горько мне, что не верю теперь...*

Так за два года до своей гибели в “Англетере” писал Сергей Есенин. Писал покаянно. (Замечу в скобках: известный поп-певец Малинин упорно продолжает искажать текст поэта, изо всех сил вопия: “Стыдно мне, что я в Бога не верил...” Бесчувственный (или — бес чувственный?), не в состоянии он понять глубины душевной боли поэта, которому стыдно от того, как он верил — формально, не глубоко...)

Мне, честно говоря, не стыдно, что я в своём немислимо далёком довоенном детстве простодушно верил в бессмертие своей души и вечную жизнь — ведь это было интуитивное, генетическое чувство, дарованное нам бесконечной чередой предков. Выражаясь по-учёному, оно дано всем людям а priori — и лишь с годами человек начинает без устали сомневаться — а вправду ли я бессмертен? Наука множит эти сомнения, и на определённом этапе её развития возникает дерзостный атеизм, отвергающий Бога как ненужную “гипотезу”.

Итак, начало. Крестили меня — тайно от отца, молодого коммуниста и безбожника, “по определению” устава партии, мама с бабушкой в кладбищенской церкви на окраине Бежецка. Так что вступил я в жизнь православным и, значит, по Достоевскому, русским человеком.

Ярко, светло запечатлелось в памяти первое причастие. Было это в 1938-м — ещё был жив мой братишка Юра, погибший вскорости от банальной (по нынешним временам) дизентерии... Тогда мы с бабушкой терпеливо ждали, когда длиннющая очередь верующих продвинется к батюшке. А вот и он: большой, яркогубый, бородатый, в долгополой рясе! Опускает мне в ладошку просвиру (“тело Господне”) и тихо требует: “Ротик открой!” Глотаю с ло-

жечки “кровь Христову”. До чего же вкусно, сладко, приятно! “Дедушка, ещё хочу!” – жалобно тяну я, и в то же мгновение бабушка крепко ухватила меня за ухо и оттащила – от греха подальше.

А просвирка оказалась пресная, совсем невкусная...

Предвоенный 1940-й год. Село Градницы. Здесь всего через полтора года первой лютой военной зимой буду я учиться в начальной школе. Через много лет узнаю, что в этом самом доме до революции проживали молодые, красивые, уже знаменитые Гумилёв с Ахматовой.

Мы приехали в Градницы на лето чуть ли не сразу после того, как “воинствующие безбожники” неоднократно пытались разнести в клочья местный православный храм. Не тут-то было! Дважды опутывали здание зарядами фугаса. Рванут, дым рассеется – а собор стоит, и только пыль красная кирпичная вокруг в местах взрыва... Словно кровью истекает, но не сдаётся!

Буквально на следующий день с оравой деревенских сорванцов мы проникли в разорённый храм. Не знаю, почему, но никакого пожара в нём не приключилось. Кругом – мерзость запустения, как горестно говорил Достоевский: доски, пыль, хлам на полу, пустые глазницы иконостаса, обломки позолоченных риз, железная груда низринутого из-под купола паникадила... А мальчишки лихорадочно копались в этих ещё недавно столь красивых и торжественных останках, пытаясь найти что-нибудь этакое, к домашнему делу пригодное. Не так ли их отцы, когда сами были огольцами, в первые годы революции злорадно улюлюкали и свистели, когда наземь летели кресты и купола?

Загубленная красота... Именно такое, чисто эстетическое, вполне интуитивное чувство огорчения и сожаления возникло у меня тогда в разорённом храме. С годами оно укреплялось, наращивало осмысленный “культурный слой”, ставилось в основу устойчивой веротерпимости (ничуть не колебавшей приобретённых позднее безрелигиозных философских убеждений). Сколько раз в разные годы, проезжая по России, взирал я с той самой щемящей “градничкой” грустью на обезглавленные русские церкви и соборы, всё равно служащие людям – то как узилища или хранилища, то как механические мастерские, то даже как детские спортклубы. И неотвязный вопрос: зачем? зачем?! – остаётся без окончательного ответа до сих пор.

Казалось бы, теперь, в эпоху нового православного ренессанса, всё-всё нам, русским, всему бывшему “блоку коммунистов и беспартийных” подробно разобъяснили – и насчёт “воинствующих безбожников”, и о Губельмане-Ярославском, и о русофобии, в адском пламени которой горели православные иконы и рушились стены храмов и монастырей... Вроде бы и всё, а вот чувство горечи, противное, как зубная боль, остаётся. Наверное, потому, что нельзя было, более семидесяти лет служа справедливости, воюя за неё, одновременно столь несправедливо, жестоко и высокомерно изживать со свету кровного её Отца, Брата и Друга – Иисуса Христа. И осиротевшей от безбожия Стране Справедливости в конце концов не хватило сил – ни физические, ни духовных, – чтобы одолеть, победить могучего, хитроумного Обольстителя миллионов “малых сих”, изготовителя вселенской чечевичной похлёбки эгоистического потребления...

1946-й год. Поздним вечером в нашем доме на Оршанской улице раздался громкий звонок. Отца позвал к телефону первый секретарь Витебского обкома партии Василий Иванович Кудряев, бывший герой-партизан, мужик крутой и своенравный (как и все начальники сталинских времён). Я сразу понял, что он “несёт по кочкам” и по матушке моего папаню за то, что в его доме, понимаешь, иконка в углу и лампадка мерцает – из партии выметают за такое! Отец долго пытался вежливо объяснить, что не может запретить старухе-матери верить в Бога. В конце концов, не выдержав высокопоставленного хамства, отец сорвался: да пошли вы с вашими нотациями куда подальше! Бросил трубку, прошёл на кухню к буфету, набулькал в стакан “московской”, хряпнул и выдохнул: “Чёрт с ним! Что будет, то и будет”. На очередном бюро обкома вlepили-таки ему выговор “за слабую работу по антирелигиозному воспитанию трудящихся”. Кудряев потом в беседе один на один сказал примирительно: “Пойми, Ильич, иначе нельзя. Сигнал поступил от органов – надо было отреагировать”.

Ясное дело, что от органов. Эмгешный синепогонный старлей, районный уполномоченный, потом повинулся перед отцом за свой “сигнал” о бабушкиной иконке. “Вставил лыко в строку, бездельник! — возмушалась мама. — Зарплату получает втрое больше, чем секретарь райкома, вот и старается... Роеет, роеет, всех подозревает...” В словах матери была правда. Но правда была и в том, что старлей “рыл” и по делу: сколько ещё надо было выловить бывших полицаев и прочих затаившихся фашистских прихвостней!

Судьба вновь привела меня в Бежецк только через 30 лет. Будучи уже инструктором ЦК КПСС, я был командирован в родной город для участия в торжествах по случаю 100-летия писателя В. Я. Шишкова. Приехали мы из Калинина под вечер на обкомовской машине. Путь к гостинице “Огонёк” лежал мимо городского кладбища. Что-то гулко толкнуло меня в сердце. “Пожалуйста, остановитесь! — сказал я шофёру. И, обернувшись к сопровождающим, попросил: — Товарищи! Я не был в Бежецке 30 лет. Здесь похоронен мой единственный братишка, Юрка. Прошу вас: погодите минут десять, перекурите, а я пойду поклонюсь ему”.

Сопровождающие недоумевающе переглянулись.

“Могилка вряд ли сохранилась, — торопливо продолжал я. — Но чует моё сердце: найду то место, где он лежит. Найду!” Мужики согласно загудели: давай, попробуй...

Я пошёл по дорожке к той самой церкви, где до войны причащался у батюшки. Дорожка была теперь асфальтовой, по сторонам — послевоенные памятники со звёздочками, подалее, в глубине — с крестами. Как тут найдёшь могилку давним-давно умершего младенца? Но хоть где-то поблизости остановиться, вспомнить, вспомнить, взгрустнуть...

И вдруг ноги мои словно приросли к земле, налились неожиданной пугающей тяжестью. Я поднял голову, взглянул на церковь, которую озаряли последние лучи закатного солнца. Вспомнил! Словно завеса времён на мгновение разорвалась, и вспыхнуло в памяти отчётливое видение: маленький красный гробик, рыдающие в голос мама и сёстры... Здесь, где-то здесь мой братишка! Точно здесь!

Солнце ушло за горизонт. Ноги “отпустило”, я вернулся к машине.

— Извините, друзья, — сказал я, усаживаясь на переднее сиденье. — Главное, не зря.

— Неужели?! — воскликнули сзади.

Я и сам почти поверил, что нашёл бывшую Юркину могилку. “Мне голос был...” — вспоминалась таинственная строка ахматовских стихов. “Голоса” не было — но откуда же то внезапное оцепенение, когда я, ступив на край кладбищенской дорожки, буквально прирос к месту, и явилось воспоминание третьвековой давности?!

... С того “цековского” посещения Бежецка минуло ещё тридцать пять лет. Пора, пора в последний раз посетить родину, поклониться брату, пройти улицей к Остречине. Улицей, по которой до меня ходили знатные, овеянные всерусской славой бежечане: автор бессмертной “Угрюм-реки” Шишков, наилучший балалаечник всея Руси Андреев, поэты Гумилёв и Ахматова. Великий закон движения от индивидуального к особенному, а затем ко всеобщему не отменим: не хранишь в душе “малую родину” — никогда не станешь истинным патриотом Отечества, что превыше всего. Может быть, Бог выше? Но это — если ты всем существом своим осознал подлинность Всевышнего. Не каждому, увы, дано преодолеть даже первые ступени восхождения к истинной вере. Вот и я — застрял на стадии осмысления и приятия всей душой “особенного”, то есть живого, жестокого, громокипящего вещного и тварного мира. Но “всеобщее” не достигнуто и не постигнуто, я знаю это точно... Пожалуй, сам не зная того, я слишком усердным учеником Сократа: “Подвергай всё сомнению...” Да, это сулит жизнь интересную, насыщенную поисками и открытиями, избавляет от скуки, но — до крайности усложняет путь к вере.

... В посёлке Лесное, в самом глухом углу Тверской губернии, где мы прожили почти три голодных военных года (до февраля 45-го) церкви вообще не было — в безбожные двадцатые её снесли до основания. Но кладбище, поросшее вековыми деревьями и густым кустарником, разумеется, было. Сквозь него, помню, прокладывали лесновские мальчишки зимнюю лыжню,

чтобы скатываться с высокого откоса вниз, к речке – только ветер в ушах свистит! А чуть дальше – огромное Лесное озеро, чей зимний лёд “мальчишек радостный народ” старательно резал “снегурками”, накрепко привязанными к валенкам.

Однажды летом заспорили мы: кому хватит духу ночью пройти одному через кладбище? Пофорсили друг перед дружкой, побахвалились, но когда дошло до списка добровольцев...

– Ладно! Я первый – прямо сегодня! – неожиданно для себя ляпнул я. Впрочем, почему неожиданно? Давно уже подумывалось мне об испытании себя на храбрость – недостаток её ощущался давно и явно. А каково чувствовать себя, пускай и втайне, трусом, когда другие умирают за Родину?!

Под моё честное слово одноклассники разошлись по домам. Я стал дожидаться вечера...

– Мам! Пойду погуляю немножко, а? – небрежно обратился я к матери.

– Поди, сынок, да не загуливайся, темнеет уже, – разрешила она.

Я с нарастающим трепетаньем сердца двинулся на окраину посёлка. Летнее небо ещё чуть розовело на самом краешке горизонта, но густые сумерки уже окутывали землю. Приблизившись к гостеприимным, вечно открытым воротам кладбища, изо всех сил храбрясь, я прошептал с отчаянием: “На чёрта мне всё это?” – и почувствовал вдруг нахлынувшее откуда-то из глубины неудержимое желание перекреститься.

Центральная кладбищенская дорожка, выложенная мелким булыжником, еле освещена косорогим, недавно народившимся лунным осколком. Плотную тишину погоста внезапно вспарывают тревожные птичьи вскрики. Птичь ли?.. “Подымите мне веки, не вижу!” – вспоминается ужасный гоголевский Вий. И тут же – ведьма, погубившая Хому Брута, и упыри, и вурдалаки... Начитался – на свою беду...

Сердце стучало что есть мочи во все свои колокола. А ноги, хоть и ватные почти, так и срывались в паническое бегство из этого царства ужаса. Но слово дано – терпи и одолей себя!

Уф-ф, наконец-то впереди чуть просветлело. Окраина, косогор наш лыжный – и огромное тёмное небо во всю свою необъятную ширь. Внизу, залитая тяжёлым туманом, угадывалась равнина любимого Лесного озера.

– Слава тебе, Господи! – радостно прошептал я. Наверное, это был донёсшийся из глубины веков шёпот моих православных предков, незримо и безгласно живущий во мне, меня оберегающий и за меня радеющий. Генетическая память? Неужто в этом весь секрет? Модная научная “отмычка” для объяснения нераскрытых, таинственных загадок природы и человека... Однако меня всё больше пугает движение науки (в том числе и генетики) от сложного к простому. Как, впрочем, и в обществе – попятное движение от цветущей сложности многообразия народов и культур к бездушной роботизированной простоте. Геном человека идентичен геному дождевого червя... Бр-р-р! Мне ближе и милее державинское: “Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог!” Ну, не аз многогрешный, конечно...

Прочитал у Николая Бердяева: “...Мне свойственна незыблемость некоей первичной веры. У меня есть религиозные переживания, которые очень трудно выразить словами... И каждый раз, с пронизывающей меня остротой, я ощущаю, что существование мира не может быть самодостаточным, не может не иметь за собой в ещё большей глубине тайны, тайного смысла. Эта тайна есть Бог”. Как похоже – “некая первичная вера”, и как этого мало, чтобы по-настоящему и навсегда постичь Его...

Ещё в университете я впервые прочитал Библию. Именно прочитал, как читают беллетристику. Цепкий молодой ум сохранил в памяти многие притчи, Христовы чудеса – воспринимались они тогда просто как сказки. Занятные, впечатляющие, но не более. Серьёзное проникновение в Библию было ещё впереди.

Однажды, совсем неожиданно, мне даже удалось “блеснуть” знанием её азов. А было это так. В Большой психологической аудитории, что на Моховой, в самом сердце Москвы, старенький профессор Алексей Петрович Гагарин читал нашему курсу антирелигиозную лекцию. Вальяжно прогуливаясь вдоль подиума, Гагарин (говорили, что он из князей, “осколок” знатного дворянского рода) задавал нам каверзные вопросы. Например, такой: “Всё во Вселен-

ной крутится-вертится, как и наша Земля; похоже на часы с секундной, минутной и часовой стрелками. Кто же впервые завёл эти всемирные космические часы?” Порассуждав о бесконечности времени, пространства и энергии, профессор приблизился к не менее щекотливой теме — будет ли конец света и что может привести к этому заблудшее человечество.

— Задумаемся, друзья мои, какая же тайна заключена в таинственном числе 606?

Зал замер. Я, сидящий в первом, ближнем к лектору ряду, тут же встрял: — Число Зверя не 606, а 666, Алексей Петрович!

По залу прокатился одобрителный смешок.

— Мерси, юноша! — отвечивал профессор, ничуть не смутившись. — Вы совершенно правы! Но ведь и 606 что-то обозначает? — Задумавшись на мгновение, он радостно хлопнул себя по лбу: — А вспомнил: 606 — это от сифилиса!

Большая Психологическая аудитория содрогнулась от хохота...

Потом была моя кубанская комсомольская “пятилетка”. Погружённый в “грудю дел, суматоху явлений”, я, кажется, ни разу не вспомнил о Боге. Антирелигиозная пропаганда (а ведь это были годы хрущёвских ожесточённых гонений на церковь) не занимала сколько-нибудь заметного места в моей повседневной работе. Один только раз, помнится, на бюро райкома тихий, скромненький паренёк внезапно твёрдо ответил: “Верю!” — когда его спросили, верит ли он в Бога. Что тут поднялось! Почти все члены бюро, не задумываясь, закричали: “Куда ему в комсомол! Рано! Отложить приём!” Каверзная ситуация... Паренёк-то чистый, активный, искренний. Я вроде бы нашёлся, сказав: “Ребята, принимают в комсомол, чтобы воспитывать. В партию — другое дело. Предлагаю принять и поручить комсоргу завода заняться переубеждением заблуждающегося товарища”. Четверо из девяти членов бюро всё-таки проголосовали “против”...

Кстати будет сказать, что комсомол 50–60-х годов, к которому я имел честь принадлежать, подвижный созидательным духом послевоенного времени, активного участия в хрущёвской оголтелой безбожной кампании не принимал. В отличие от “комсы” 20-х — начала 30-х годов. Там довлело разудалое, бесшабашное: “Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!” Но потом была Великая война, и единение народное в смертельной схватке с врагом, и могучий сталинский призыв: “Пусть вдохновляет вас в вашей великой борьбе образ наших великих предков...” Первый среди великих был назван святой князь и полководец Александр Невский.

Сегодня, почти через 70 лет после нацистского нашествия на СССР, уже не вождь (которого у России, увы, давно нет), а сам народ своею волей, десятками миллионов голосов твёрдо “застолбил” первенство Александра Невского среди всех великих людей России, достойных тождества с её именем. Да, телевизионное шоу — это не морозная Красная площадь 7 ноября 41-го; да, отвратительны и недостоверны пиар-ходы организаторов шоу против неугодных им (и правящему режиму) персонажей. Но Невский, как и в Ледовом побоище, снова выстоял и победил безоговорочно!

Так вот. Мы, дети войны, опалённые её жгучим пламенем, в “воинствующие безбожники” не годились. К тому же время и сама власть звали нас на другие фронты: на целину, на великие ударные стройки. Комсомол везде впереди — но только не в разорении церквей. Он наивно и тщетно боролся с чужеземной заразой — распарывал стилигам узкие брюки, срывал цветастые галстуки, клеймил позором беспамятных космополитов, очарованных западным комфортом, идеализировал кочевое беспокойное счастье: “А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги”.

Пройдёт менее полувека — и кое-кто из постаревших бывших “шестидесятников” вознесёт чуть ли не до уровня “общенациональной гордости” бледную кинопоганку под названием “Стиляги”. В ней “героями” неравной битвы с охмурённой тоталитарными идеями комсомолой изображены те самые оболтусы в узких штанах, обезьяньих галстуках, с открытой вожделённому Западу, расхристанной распутой и продажной душой...

Вот такие “кренделя” истории. И с каждым новым десятилетием становилась всё более явной стратегическая ошибка советской власти: тысячелетнее Православие всё время оставалось для неё идейным противником. Спыхвати-

лись было в 1988 году, в годовщину 1000-летия христианства на Руси, да неумело, конъюнктурно (чисто по-горбачёвски!), по-кампанейски. И всё же телерепортаж на весь СССР о торжестве в Свято-Даниловом монастыре был великим шагом вперёд (ведь Никита Хрущёв именно к этому времени грозился показать всему народу и миру последнего русского попа!). Отчётливо помнится мне и полуторжественное, полуофициальное открытие летом того же года памятника Сергию Радонежскому в Подмоскowie: растерянные чиновники, в большинстве своём бывшие комсомольцы, с опаской поглядывают друг на друга — ведь у каждого в кармане партбилет! Они только через три года начнут старательно креститься и стоять с постным видом во храмах, держа в правой руке свечку... Вот такое “невсамделишное” массовое преображение савлов в павлы представляется мне лживым — и абсолютно неприемлемым. Вера по команде (сверху), вера как подспорье в достижении жизненного успеха... нет! — совсем, совсем иное читалось в таинственных и торжественных текстах Библии, в житиях нескгибаемых, непокорных православных святых. Одно лишь прояснилось всё отчётливее — какого великого союзника в борьбе за воспитание человека мы оттолкнули...

...И ещё несколько растрёпанных, летучих мыслей о комсомоле в связи с Православием. Запомнилась и легла на душу твёрдо проповедуемая Геннадием Зюгановым мысль о двух партиях в единой когда-то КПСС: партии Сталина и Стаханова, Королёва и Гагарина, партии тружеников, созидателей и патриотов — и партии космополитов и приспособленцев, русофобов и карьеристов. (Наверное, её, вторую, можно именовать “партией” Троцкого и Бухарина, Горбачёва и Яковлева. Название, разумеется, условное, “рабочее”.)

А комсомол, как известно, “ближайший резерв и помощник партии”. Очевидно, сепарация на две “партии” происходила и в комсомоле. Настолько очевидно, что остаётся только факты и фамилии отобрать — по ту и другую сторону идейных “баррикад”.

Ограничусь одной лишь комсомольской фамилией — Гусев. И сразу скажу, что имею в виду Павла Гусева, ныне хозяина (в точном, рыночном смысле слова) и главного редактора знаменитой поныне (хотя и по-разному) газеты “Московский комсомолец”. От комсомола в ней, разумеется, остался только “бренд” (как и у сунгоркиной “Комсомолки”) явно жёлтого оттенка. Всё остальное — чистый, “голый” капитализм, газетно-журнальный буржуазный концерн, “которому позавидовал бы и сам Херст”. (Именно так писала “Литературка” в хвалебной оде, посвящённой 60-летию П. Н. Гусева.) Реклама... адресочки путан... безудержное восхваление “свободного мира”... лютый антисоветизм... — таков нынешний “МК”, перевёрнутый курсом на Запад 20 лет назад, в разгар перестройки, именно Гусевым. Не зря, совсем не зря злые пожилые “совки” называют его газету то “Московский сексомалец”, то “мозгомоец”. А Павлу — как с гуся вода! Впрочем, и “совки”, многие из них, в метро и электричках читают именно “МК”. Вот так!

“Если Бога нет, то всё позволено”. А раз всё позволено — Бог-то зачем? Долгое время читая (часто с болью и отвращением) гусевскую газету — наряду с “Завтра” и “Совраской”, — я не раз задумывался: а почему на протяжении ряда лет “МК” ведёт ожесточённую, не стихающую борьбу с высшим руководством Русской православной церкви? Колючие перья “комсомольцев” беспрестанно царапали в кровь, обливали грязью доброе имя и нравственный облик нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, бывшего до интронизации митрополитом и руководителем отдела внешних церковных связей Патриархии. Чем же Кирилл им не угодил? — часто думал я, восхищаясь ясным умом, интеллигентностью, европейской учёностью иерарха. Что этим шавкам от него надо?

И, размышляя, пришёл к выводу: вряд ли вопрос этот сводится к личной неприязни того же Гусева или кого-то из его “перьев”, по-хамски неустанно повторяющих “мирскую” фамилию патриарха — Гундяев: Гундяев делец, Гундяев спекулирует водкой и сигаретами, Гундяев на руку не чист...

С чего это певцы личного обогащения и буржуазного комфорта, и прежде всего сам владелец концерна “МК”, вдруг возопили о греховности и аморальности иерархов РПЦ? Прозрели? Ничуть не бывало! У бизнеса, как известно, “ничего личного”. Зри в корень — а он приводит прямёхонько к “вашигтонскому обкому” и главному идеологу его, заклятому врагу России Збигневу

Бжезинскому, непотопляемому советнику старым и новым президентам США. Сколько раз Ельцин докладывал хозяевам, что уже забит последний гвоздь в гроб повреждённого коммунизма! Дескать, Россия отныне и навсегда с Америкой... А Збигнев всё не успокаивается. И не успокоится, пока не будет низвергнуто Православие, последняя могучая скрепа, удерживающая единство России как суверенной державы со своим общенациональным духом, характером, традициями, со своими национальными интересами. Вот откуда “ноги растут” у многолетних глумливых нападок “комсомольцев” на человека по фамилии Гундяев... По-моему, прав главный редактор “Литгазеты” Юрий Поляков, назвавший, в пылу юбилейного восторга, своего коллегу и друга П. Н. Гусева “самым блестящим редактором этой (т. е. “МК”) знаковой газеты”. **“Знаковой”** – точнее не скажешь!

...Невольно вспомнилось восхищённо-мечтательное восклицание одного из героев старого советского фильма “Девять дней одного года”: “Если бы всё человечество состояло из Гусевых...” Врать не буду: долго-долго я втайне тихо радовался, что благодаря создателям этой великолепной киноповести миллионы и миллионы людей узнали и полюбили простую русскую фамилию, а значит, и людей, ею означенных от предков своих. Не знаю, кого как, но меня это полнило не только чувством гордости, но и ответственности. Наивно, смешно, глуповато, да? Может быть... Не так давно я со своими любимыми внуками был на Поклонной, в музее Великой Отечественной, и обратил их внимание на длинные списки Героев Советского Союза. “Знаете, ребята, между прочим, в этом огромном почётном списке Гусевы занимают одно из первых мест!”

Внуки мои – Поповы. Старшие, Степан и Коля, тут же начали считать Поповых. Считали долго, тщательно – и вдруг радостно возопили: “А Поповых ещё больше!” От этого у меня радостно запершило в горле и увлажнились глаза...

Пожалуй, к сказанному можно прибавить только одно. Комсомольцем, как и П. Н. Гусев, был хозяин “ЮКОСа” Михаил Ходорковский, яркий представитель “второй”, коммерчески-хищнической ветви позднего, “огорбачёвлённого” и “ояковленного” ВЛКСМ. Вон куда их отнесло ветрами истории от юношеских комсомольских идеалов! Нестерпимо ярко блеск “золотого тельца”, слепящий душу и совесть. И неотвратимо охватывает человека, утратившего идеал, “очарование темноты”. Очарование гламура и бездуховности, когда “всё позволено”...

...Только что отшумели всероссийские празднества, посвящённые двухсотлетию со дня рождения великого Гоголя. Сквозь юбилейный шум и гомон, то возвышенно-сердечный, то равнодушно-обязательный (что им, властям и вражескому антирусскому TV, наш Гоголь?!), более всего зацепило, заклонило меня одно лишь слово: *надорвался*... Святогор русской литературы, даже он не сумел поднять “суму перемётную”, в которой таилось счастье народное: любовь и согласие, справедливость, дружество и единение всех православных. Вера в силу Слова – а “Слово это Бог” – не выдержала любовных столкновений с российской жизнью. “Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог” – это из великого стихотворения Николая Гумилёва, впервые услышанного мною только ко в 1986 году. Спихватился, устроил себе гумилёвский “ликбез” и, слава Богу, хоть и поздно, но начал глубже понимать, как “осиянно” живое слово и как “дурно пахнут мёртвые слова”. Наверное, психически надломленному, мятущемуся Гоголю вдруг открылось, что слова второй части его “Мёртвых душ” мертвы, беспомощны – и рукописи тогда горят... Ведь также не известна и никогда не откроется тайна “Прощальной повести” Николая Васильевича, завещанной им своим читателям. “Лучшее из всего, что произвело перо моё”, – сказал о ней автор, но, очевидно, тоже сжёг. Он выжил после тяжелейшей болезни, от которой не чаял спасения, потому в “Завещании” сказано: “Прощальная повесть” не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни”. Остаётся только предполагать, как бы отозвалась в сердцах потомков “сокровеннейшая небесная музыка этой тайны”.

Вернусь, однако, к себе, грешному. Несколько лет тому назад редакционные дела привели нас с Юрием Кузнецовым в славный русский град Владимир. Целый день высвободили мы с ним, чтобы окунуться в далёкое прошлое Отечества – во времена домонгольской Руси. Высшей точкой нашей

исторической экскурсии стало посещение церкви Покрова на Нерли. Нет нужды описывать это русское чудо — сказано о нём неисчислимо множество восторженных слов, но все они бессильны передать немое чувство восхищения, охватывающее тебя за порогом храма, как только глаза устремляются вверх, в глубину купола. Необыкновенная лёгкость вдруг возникла в душе, словно устремившейся преодолеть земное притяжение. Я замер. Это было очень похоже на то давней давности наваждение, которое я испытал близ Бежецкой церкви, когда ноги сами “нашли” место захоронения бедного моего братишки Юры...

А сейчас со мною рядом, локоть к локтю, стоял, плотно сжав губы, другой Юра — великий русский поэт. Не в эти ли мгновения впервые зазвучала в нём сокровеннейшая музыка поэм о Христе, сочинение которых стало смыслом его жизни и творчества все последующие годы — вплоть до внезапного трагического ухода насовсем в ноябре 2003-го?

Прошло немало дней, и однажды я рискнул спросить — не в церкви ли Покрова, где мы так явственно ощутили тягу небесную, родился в его душе замысел трилогии о Христе? Кузнецов долго-долго (мне так показалось) смотрел на меня. Молча и строго. Он умел так посмотреть, что вдруг начинало ныть под ложечкой. И всё-таки ответил, как припечатал: “Возможно”.

И ещё об одном “знаковом” событии рассказать совершенно необходимо. Когда от тяжёлой болезни скончался Владимир Солоухин, его решено было отпевать в церкви близ недостроенного ещё тогда могучего Храма Христа Спасителя. В толпе провожающих писателя шептались, что в траурном прощании примет участие Патриарх Алексий II. Время шло. Звучали песнопения, но сам обряд отпевания не начинался. И вот в сопровождении иерархов в церковь вошёл Его Святейшество. Осеняя крестным знамением собравшихся, он прошёл тесным зазором между гробом и окружающими людьми... И остановился буквально рядом со мною! Да не просто остановился, а так и простоял по левую мою руку до конца панихиды. Не забыть, как многократно тянуло меня перекреститься под повторяемое песнопение: “Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего”, но правая рука, словно онемелая, не поднималась. Конечно же, не было в этом никакого “атеистического протеста”! Было жгучее, непреодолимое желание *не фальшивить*, стоя рядом с самим Патриархом. Не хотелось уподобляться бывшим коммунистам-“свеченосцам”. Всплыла в памяти опухшая постная рожа Ельцина... Пучеглазого Черномырдина... Нет уж, лучше пересилить явное неудобство, чем хоть на минутку притвориться верующим. Молчал, сжимая кулаки, и мысленно просил покойного Володю понять меня — и простить.

... Далеко, далеко не каждому выпадает в жизни видеть и быть непосредственно вблизи двух Патриархов. С нынешним, Кириллом, я даже не стоял, а сидел рядом однажды — за “круглым столом” редакции, в котором принимал участие тогда ещё митрополит владыка Кирилл.

... Чувствую ли я себя виноватым, что до глубокой старости так и не проникся, не постиг Его, несмотря на многие “знаки”, не имеющие рационального объяснения? Честно говоря — нет. Быть может, объяснение этому в том, что я неизменно и честно служил русскому Слову, любя и лелея его почти религиозно, невзирая на номенклатурные зигзаги моей судьбы. Не знаю, не знаю...

Пусть и не столько внутри литературы, но всегда рядом, всегда близ неё.  
— Горько мне, что не верю теперь...